

Глава V

Альманах в память открытия типографии. – Э. И. Гувер. – Вечер у Воейкова в великом посту. – Чтение «Сумасшедшего дома». – Нумер «Русского инвалида», присланный мне Воейковым. – Юбилей Крылова. – С. Н. Глинка. – Литературно-великосветские субботы у князя В. Ф. Одоевского. – Сахаров, издатель «Сказаний русского народа». – Отец Иакинф. – Отношения Одоевского к молодым литераторам. – С. А. Соболевский. – Смерть Пушкина и разбор его бумаг. – Имя Краевского на обертке «Современника» вместе с именами князя Вяземского, Жуковского и Плетнева.

Присутствовавшие на обеде Воейкова при открытии типографии, по предложению, если я не ошибаюсь, Владиславлева, обязались подарить по статье на зубок новой типографии. Если бы все они сдержали свое слово, из этих приношений составила бы книжища листов во сто. Мысль эта улыбалась Воейкову, но, к прискорбию его, она не осуществилась: только человек десять или пятнадцать из самых молодых литераторов, движимых рьяною страстью печататься (и в том числе, конечно, я), поднесли ему свои стишки и рассказы, из которых составила тощая и плохая книжечка. Перед выходом ее Воейков пустил об ней прекурьезное объявление с китайским бордюром, как объявления о чае. Он наименовал все статьи своего альманаха и при этом делал небольшую, но презабавную характеристику каждого автора. Я только помню две из этих характеристик – мою и Губера. Напечатав заглавие моего рассказа, он заметил: «сочинение И. И. Панаева, автора повести: „Она будет счастлива“^[2] в которой в первый раз изображена настоящая русская женщина»; объявляя о стихотворениях Губера, он прибавил: «того самого Э. И. Губера, который вступил в борьбу с исполином Германии – Гете и победил его». Остальные характеристики были в этом же роде.

Здесь кстати надо заметить, что Губер незадолго перед этим появился с большим эффектом на литературном поприще как переводчик «Фауста». Об этом переводе, еще до появления отрывков из него, толковали очень много: говорили, что перевод его – образец переводов, что более поэтически и более верно невозможно передать «Фауста». Кажется, Губер явился с отрывками из своего перевода прежде всего к Пушкину, и Пушкин переделал некоторые из этих отрывков. Об этом уже узнали впоследствии. Губер сначала довольно часто появлялся на литературных утренниках г. Краевского, потом он сблизился с Брюлловым, Глинкою и Кукольником... но о Губере я буду еще говорить впоследствии...

Объявление Воейкова рассмешило всех. Искренно ли было написано оно, или это была злая шуточка, до которых Воейков был такой охотник? Бог знает. Воейков как критик был вообще до крайности пошл и легко мог не шутя делать такого рода характеристики.

В своих выходках в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» против Надеждина, Белинского и других он являлся тупым, плоским, отсталым старцем, огрызавшимся с бессильною злобою.

В Воейкове-журналисте не было, казалось, ничего общего с автором «Сумасшедшего дома», умно и метко злым, каким он являлся иногда и в обществе.

Однажды на вечере у Владиславлева, когда зашла речь о «Сумасшедшем доме», Владиславлев спросил у него:

– Скажите, Александр Федорыч, откуда вы берете эти слова, которыми вы так беспощадно бичуете в вашем «Сумасшедшем доме»?

Воейков улыбнулся, и масляные глазки его засверкали.

– Они мне не легко достаются, – отвечал он протяжно и в нос, – я ведь, почтеннейший, несколько лет коплю в себе желчь, и когда она накопится через меру, так уж сама собой как – то разливается.

У Владиславлева висел на стене в его кабинете портрет масляными красками Греча.

Краевский спросил у Владиславлева, почему он повесил у себя этот портрет Греча: разве он так уважает оригинал?

– Ах, Андрей Александрыч, – прогнусил Воейков, – оставьте его: пусть до виселицы-то хоть на гвоздике повисит!

Однажды Воейков пригласил меня к себе на вечер. Это было в великом посту. Он жил где-то около Шестилавочной в небольшом отдельном деревянном домике. На этом вечере были: Жуковский, князь Вяземский, г. Краевский, Владиславлев, Гребенка и некоторые другие литераторы.

Воейков был очень любезен с своими гостями и льстил самолюбию каждого.

Вяземский потребовал, чтобы он непременно прочел весь свой «Сумасшедший дом», не скрывая ничего.

– Ты ведь, верно, и меня поместил в него, – сказал Вяземский, – прочти обо всех. Я не рассержусь на тебя, я тебе даю слово; другие, верно, также не рассердятся.

– Что это ты, князь! – вскрикнул Воейков, – с чего ты это взял? Клянусь тебе, что о тебе нет ни одной строки. Я тебя так люблю, так уважаю!.. Сохрани боже, как это можно!

– Да и Жуковского ты, верно, любишь и уважаешь, – возразил Вяземский, – однако Жуковский попал же в «Сумасшедший дом».

Жуковский улыбался. Воейков смутился.

– Это прошедшее... это было так давно, – начал Воейков, – я теперь в этом раскаиваюсь... Это гадко, низко с моей стороны было трогать такого человека, как он (и Воейков указывал на Жуковского); я торжественно каюсь в этом поступке...

– Ну, полно, полно, – отвечал Жуковский, – принеси-ка свой «Сумасшедший дом» и прочти его нам, ничего не утаивая...

Все пристали к Воейкову. Он вышел и скоро возвратился с тетрадкой.

– Право, это не стоит читать, – говорил он, – вам всем это известно, нового тут ничего нет.

– Нет, читайте, читайте! – закричали все в один голос...

– Если вы непременно требуете, я повинюсь – делать нечего.

И Воейков неохотно раскрыл тетрадку...

– Господа! – сказал Вяземский, – он непременно пропустит что-нибудь. Пусть прочтет кто-нибудь другой... Дай кому-нибудь из нас тетрадку.

Воейков начал клясться, что пропускать нечего, что нового нет ничего, – однако тетрадка его была передана Гребенке, который взялся читать.

Во время чтения Воейков стоял сзади стула Гребенки и прерывал чтение, повторяя:

– Видите ли, ведь я не солгал, тут нет ничего нового... Право, не стоит читать...

– Молчи! молчи! – замечал ему Жуковский, грозя пальцем.

Нового действительно ничего не оказалось, за исключением не известных для Вяземского и Жуковского четырех страшно оскорбительных стихов на Карлгофа, с которым Воейков был в очень приятельских отношениях.

– Видишь ли, князь, – воскликнул Воейков по окончании чтения, обращаясь к Вяземскому, – что я не солгал, что о тебе нет ни слова. Я бы отсек себе руку, которая бы написала о тебе хоть одну ядовитую строчку... Клянусь тебе, клянусь!

Вечер этот окончился постным ужином. Воейков во все время ужина извинялся, что он угощает постным.

– Жаль, – говорил он, – что мне пришлось принимать моих дорогих гостей в посту... ну, а вы уж меня извините, господа, – я свято исполняю христианский долг. Я всегда весь великий пост ем постное.

Провожая нас, Воейков говорил каждому:

– Благодарю вас за честь, которую вы сделали старику и не погнушались его приглашением, я это очень чувствую. Вы доставили мне истинное удовольствие. Я этого вечера никогда не забуду, – и так далее...

Из литераторов Воейков более всех ненавидел Сенковского, Греча и Булгарина и всякий раз выискивал с наслаждением случаи, чтобы нанести им какую-нибудь неприятность торжественно, перед лицом публики.

Один из таких случаев представился ему при юбилее Крылова.

Мысль о юбилее Крылова возникла, если я не ошибаюсь, на вечерах у князя Одоевского. Об этой мысли сообщено было графу Уварову, который как министр просвещения взялся испросить на этот литературный праздник высочайшее разрешение. Сенковский, Греч и Булгарин, ненавидевшие Одоевского и Вяземского, потому только, что инициатива этого юбилея принадлежала им, отказались от участия в нем; но когда юбилей, высочайше одобренный, принял официальный характер, они начали хлопотать о билетах для себя; билеты уже были все розданы, и они на юбилей не попали.

Воейков воспользовался этим случаем и напечатал в «Инвалиде», что на празднике в честь нашего знаменитого баснописца не пожелали принять участие только Сенковский, Греч и Булгарин.

За эту невинную выходку Воейков просидел три дня на гауптвахте. Она показалась дерзкою высшему начальству.

Воейков очень тщеславился своею смелою выходкою (да! в то время и это считалось смелостью!) и разослал всем своим приятелям, в том числе и мне, тот номер «Инвалида», в котором она была напечатана.

У меня он хранится до сих пор.

Наверху карандашом рукою Воейкова написано:

«Любезнейшему Ив. Ив. Панаеву на память от Ал. Воейкова».

Когда Воейкова выпустили на свободу, он, подробно рассказывая мне об этом происшествии, прибавил в заключение:

– Если бы меня предупредили заранее, что я просижу за это не три дня, а три года, я все-таки бы напечатал это и просидел бы с удовольствием три года в заключении для того только, чтобы опубликовать и опозорить этих господ перед всеми...

Юбилей Крылова праздновался в большой зале дома Энгельгардта, где теперь Русский магазин. Он принял, как я уже заметил, совершенно официальный характер. Перед началом обеда граф Уваров пришил к груди баснописца звезду ордена св. Станислава и в кратких, но выразительных словах поздравил его с этою высочайшею милостию.

За обедом говорили речи: Жуковский, князь Одоевский от лица молодого поколения литераторов, князь Вяземский прочел свое известное стихотворение к «Дедушке Крылову». На хорах в зале присутствовало много любопытных великосветских дам. Крылов казался очень растроганным.

К концу обеда, после всех речей, встал с своего места Сергей Николаевич Глинка. На нем был синий фрак с бронзовыми пуговицами и с огромным Владимиром в петлице, манишка, повязанная сверх жилета, и сапоги сверх панталон. Глаза его имели несколько дикое выражение. Он направлялся с какою-то торжественностью к середине стола, где сидел Крылов, имевший своим соседом с правой стороны министра народного просвещения, а с левой Жуковского. Князь Одоевский и Плетнев сидели напротив Крылова, и около них приютился Краевский, начинавший для придания себе веса прицеплять себя к друзьям Пушкина и таким образом выдвигавшийся на видный план.

Сергей Николаевич остановился против Крылова, размахнул рукой и произнес горячо краткую, но не совсем связную речь, при всеобщих иронических взглядах, и затем потянулся к Крылову, который обнял его и поцеловал.

Когда пили за здоровье Крылова, энтузиазм в зале был страшный, и дамы на хорах кричали, махали платками и, кажется, бросили с хор несколько букетов...

Крылов бывал иногда на субботах князя Одоевского, и я в первый раз увидел там нашего знаменитого баснописца. Он имел много привлекательности и, несмотря на тучность тела, казался еще очень живым стариком. Он вообще мастерски рассказывал, когда был в хорошем расположении, и передавал с добродушным юмором различные забавные факты о своей беспечности и рассеянности: о том, как он однажды при представлении императрице Марии Федоровне в Павловске наклонился, чтобы поцеловать ее руку и вдруг чихнул ей на руку; о том, как какой-то сочинитель принес ему свое сочинение и просил его советов, как Крылов взялся очень охотно прочесть это сочинение и продержал его больше года; как сочинитель, выведенный наконец из терпенья, вошел к нему раз утром в спальню и увидел его спящего, а свое сочинение плавающим в каком-то сосуде, стоявшем у постели; как Крылов потерял жилет с самого себя, и прочее. Анекдоты эти известны почти всем.

Всякий раз, когда Крылов бывал у Одоевского, за ужином являлся для него поросенок под сметаной, до которого он был величайший охотник, и перед ним ставилась бутылка кваса.

На вечерах Одоевского бывали также довольно часто Пушкин, на которого молодые литераторы с благоговением выглядывали издалека, потому что он всегда сидел в кругу светских людей и дам, и князь Вяземский, появлявшийся обыкновенно очень поздно.

Известно, что желание Одоевского сблизить посредством своих вечеров великосветское общество с русской литературой не осуществилось. Я уже намекнул об этом, говоря о Белинском.

Большинство наших так называемых светских людей того времени отличалось крайней пустотою и отсутствием всякого образования, потому что болтанье на французском языке, более или менее удачное усвоение внешних форм пошлого европейского дендизма и чтение романов Поль-де-Кока нельзя же назвать образованием. Исключений было немного, и к ним принадлежал граф Михаил Юрьевич Виельгорский – человек с тонкою артистическою натурою

и притом с большою начитанностию для светского человека. Остальные не принимали и не могли принимать ни малейшего участия ни в развитии отечественной литературы, ни в каких человеческих интересах, а знали о существовании русской литературы только по Пушкину и по другим, которые принадлежали к их обществу. Они полагали, что вся русская литература заключается в Жуковском, Крылове (басни которого их заставляли учить в детстве), Пушкине, князе Одоевском, князе Вяземском и графе Соллогубе, который своим светским приятелям читал тогда своего «Сережу», еще не появившегося в печати. Чтобы получить литературную известность в великосветском кругу, необходимо было попасть в салон г-жи Карамзиной – вдовы историографа. Там выдавались дипломы на литературные таланты. Это был уже настоящий великосветский литературный салон с строгим выбором, и Рекамье этого салона была С. Н. Карамзина, к которой все известные наши поэты считали долгом писать послания.

Дух касты, аристократический дух внесен был таким образом и в «республику слова». Аристократические литераторы держали себя с недоступною гордостью и вдалеке от остальных своих собратий, изредка относясь к ним только с вельможескою покровительственностью. Пушкин, правда, был очень ласков и вежлив со всеми, как я уже говорил, но эта утонченная вежливость была, быть может, признаком самого закоренелого аристократизма. Его, говорят, приводило в бешенство, когда какие-нибудь высшие лица принимали его как литератора, а не как потомка Аннибала, пред кем

...громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин!

Князь Одоевский, напротив, принимал каждого литератора и ученого с искренним радушием и протягивал дружески руку всем выступавшим на литературное поприще без различия сословий и званий. Одоевский желал все обобщать, всех сблизить и радушно открыл двери свои для всех литераторов. Он хотел показать своим светским приятелям, что, кроме избранных, посещающих салон Карамзиной, в России существует еще целый класс людей, занимающихся литературой. Один из всех литераторов-аристократов, он не стыдился звания литератора, не боялся открыто смешиваться с литературною толпою и за свою дон – кихотскую страсть к литературе терпеливо сносил насмешки своих светских приятелей, которым не было никакого дела до литературы и которые вовсе не хотели сблизиться с людьми не своего общества... Светские люди на вечерах Одоевского окружали обыкновенно хозяйку дома, а литераторы были битком набиты в тесном кабинете хозяина, заставленном столами различных форм и заваленном книгами, боясь заглянуть в салон... Целая бездна разделяла этот салон от кабинета.

Но для того чтобы достичь вожеленного кабинета, литераторам надобно было проходить через роковой салон – и это было для них истинною пыткой. Неловко кланяясь хозяйке дома, они, как-то скорчившись, съежившись и притаив дыхание, торопились достичь кабинета, преследуемые лорнетами и разными не совсем приятными для их самолюбия взглядами и улыбочками.

Особенное внимание великосветских господ и господ обращал на себя издатель «Сказаний русского народа» И. П. Сахаров, появлявшийся всегда на вечерах Одоевского в длиннополом гороховом сюртуке. Сахаров, впрочем, русский человек себе на уме, хитро посматривал на все из-под навеса своих густых белокурых бровей и не смущался бросаемыми на него взглядами и возбуждаемыми им улыбочками. Он даже, кажется, нарочно облакался в свой гороховый сюртук, отправляясь на вечера Одоевского.

– Пусть их таращат на меня глаза, – говорил он, – мне наплевать, меня не испугают.

Книга Сахарова («Сказания русского народа»), только что появившаяся в то время, обратила на себя всеобщее внимание в литературе, и через эту книгу Сахаров скоро сблизился со всеми литераторами и стал особенно ухаживать за журналистами. Он довольно часто появлялся у г. Краевского.

Кроме Сахарова, привлекал к себе любопытство великосветских гостей князя Одоевского отец Иакинф, изредка появлявшийся на субботах. Он обыкновенно снимал в кабинете

Одоевского свою верхнюю одежду, оставался в подряснике, имевшем вид длинного семинарского сюртука, и начинал ораторствовать о Китае, превознося до небес все китайское.

Он до того окитаился вследствие своего долгого пребывания в этой стране, что даже наружностью стал походить на китайца: глаза его как-то сузились и поднялись кверху.

Когда Иакинф заговаривал о своем Китае, многие светские господа из салона княгини приходили слушать его.

Отец Иакинф говорил грубо, резко напирал на букву о и не стеснялся в своих выражениях.

Какой-то светский фронт перебил его однажды вопросом:

– А что, хороши женщины в Китае?

Иакинф осмотрел его с любопытством с ног до головы и потом, отворотясь, отвечал хладнокровно:

– Нет, мальчики лучше.

Однажды Иакинф проповедывал о том, что медицина в Китае доведена до высочайшего совершенства и что многие весьма серьезные болезни, от которых становятся в тупик европейские врачи, вылечиваются там очень легко и быстро.

– Какие же, например? – спросила княгиня Одоевская.

– Да вот хоть бы кровавый понос, – отвечал он...! Когда я в первый раз был у Одоевского, он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная, симпатическая наружность, таинственный тон, с которым говорил он обо всем, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляющее, – все это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах – и притом в старинных пергаментных переплетах с писанными ярлычками на задках; портрет Бетговена с длинными седыми волосами и в красном, галстук; различные черепы, какие-то необыкновенной формы склянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского: черный шелковый вострый колпак на голове и такой же длинный до пят сюртук делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика.

Я почувствовал внутреннюю лихорадку, когда он заговорил со мною. Так точно действовал Одоевский и на моего приятеля Дирина, о котором я говорил выше.

Дирин благоговейно любил Одоевского, но одна мысль об его учености приводила его в трепет.

– Меня так и тянет к этому человеку, – говаривал мне Дирин, – в нем столько симпатического!.. Но когда он о чем-нибудь заговорит со мною, я вдруг робею, чувствую внутреннюю дрожь, и язык прилипает у меня к гортани... Меня это мучит, он должен считать меня ужаснейшим дураком!

Дирин и в могилу унес отроческий, раболепный страх к Одоевскому.

У меня этот страх прошел скоро.

Я имел случай не раз убедиться, что под этим таинственным астрологическим костюмом билось самое простое, самое откровенное и чистое сердце и что все эти ученые аксесуары, так пугавшие новичков, не были нисколько страшны.

Этот человек, приводивший нас с Дириным в трепет своею ученостию, нередко принимал за людей серьезных и дельных самых пустых людей и самых пошлых шарлатанов за ученых, доверялся им, распинался за них, выдвигал их вперед, и потом, когда их неблагодарность и невежество обнаруживались, он печально покачивал головой и говорил: «Ну, что ж делать! Ошибся...» – и через день впадал в такую же ошибку.

Я мало встречал людей, которые бы могли сравниться с Одоевским в добродушии и доверчивости. Никто более его не ошибался в людях, и никто, конечно, более его не был обманут – я уверен в этом. Писатель фантастических повестей, он до сих пор смотрит на все с фантастической точки зрения, и прогресс человечества воображает в том, что через 1000 лет люди будут строить, вместо мраморных и кирпичных, стеклянные дворцы (см. его повесть).

Никто более Одоевского не принимает серьезно самые пустые вещи, и никто более его не задумывается над тем, что не заслуживает не только думы, даже внимания. К этому еще примешивается у него слабость казаться во всем оригинальным. Ни у кого в мире нет таких фантастических обедов, как у Одоевского: у него пулярка начинается бузиной или ромашкой; соусы перегоняются в химической реторте и состояются из неслыханных смешений; у него все варится, жарится, солится и маринуется ученым образом.

В старые годы канун новых годов мы постоянно встречали, и очень весело, у Одоевского: раз, не помню, на какой именно год, к нему собралось более, чем обыкновенно, и в числе других был С. А. Соболевский, один из самих старых и коротких знакомых Одоевского.

Соболевский, тот самый, которого я увидел в первый раз у Смирдина с Пушкиным и с которым я познакомился впоследствии, запугавший великосветских людей своими меткими эпиграммами и донельзя беззастенчивыми манерами, приобрел себе между многими из них репутацию необыкновенно умного и образованного человека. Житейского ума, хитрости и ловкости в Соболевском действительно много; что же касается до образования... то образование его, кажется, не блистательно; но он умеет при случае пустить пыль в глаза, бросить слово свысока, а при случае отмолчаться и отделаться иронической улыбкой. Соболевский принадлежит к тем людям, у которых в помине нет того, что называется обыкновенно сердцем, и если у него есть нервы, то они должны быть так крепки, как вязига. Это самые счастливые из людей. Им обыкновенно все дается в жизни.

Для людей мягкосердых и нервических такого рода господ нестерпимы.

Перед ужином Одоевский предупредил всех, что у него будут какие-то удивительные сосиски, приготовленные, разумеется, совершенно особым способом. Он просил гостей своих обратить внимание на это блюдо.

Любопытство насчет сосисок возбуждено было сильно. Ужин открылся именно этими сосисками. Все разрезывали их и рассматривали со вниманием и, поднося ко рту, предвкушали заранее особую приятность, но разжевав, все вдруг замерли, полуоткрыли рот и не знали, что делать. Сосиски – увы! – не удались и так отзывались салом, что всем захотелось их выплюнуть.

Соболевский выплюнул свою сосиску без церемонии и, торжественно протягивая руку с тарелкой, на которой лежала сосиска, обратился к хозяину дома и закричал во всё горло, иронически улыбаясь и посматривая на всех:

– Одоевский! пожертвуй это блюдо в детские приюты, находящиеся под начальством княгини.

У Одоевского, как вообще у всех людей нервических, не было *esprit de repartie*: он совершенно смутился и пробормотал что-то.

Одоевский в двадцать лет вместе с В. Кюхельбекером был редактором журнала. Он обещал сделаться серьезным литературным деятелем, но после прекращения «Мнемосины» и переезда его в Петербург его литературная энергия ослабевает. Он упадает духом. Многие из родных и друзей его сосланы... Удар 14 декабря отозвался на всю Россию: все сжались и присмирели. В Петербурге Одоевский продолжает заниматься литературой, но не более, как дилетант. Главною целию делается служба. Убеждения и надежды его юности поколеблены. Но служба не может наполнять его – и он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей врожденной любознательности: он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какие – то неслыханные музыкальные инструменты и, под именем доктора Пуфа, сочиняет непостижимые уму блюда и невероятные соусы; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем «Дедушки Ириная» и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник, – он совсем путается и теряется в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или с математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее.

Преследуя пошлый бюрократический формализм, он вводит его как председатель в Общество посещения бедных и в то же время уверяет, что хочет писать роман, в котором будет осмеивать этот формализм.

Не имея никаких придворных способностей, он делается придворным, и это стоит ему страшных усилий.

Один раз я заехал к нему часу в восьмом вечера. В ту минуту, когда я вошел в его кабинет, он стоял у стола в виц-мундире, в белом галстуке и в орденах и держал в руке кусочек сахара, на который княгиня капала что-то. Сахар почернел.

– Что это вы делаете, княгиня? – спросил я улыбаясь, – вы отравляете князя.

– Я всегда принимаю несколько капель опиума, – отвечал за нее князь, – от этого я становлюсь бодрее. Я должен ехать на вечер к великой княгине.

Во время коронации, в качестве камергера, Одоевский должен был подносить блюда императору и императрице и потом пятиться назад с лицом, обращенным к августейшим особам. Прodelка эта нелегка, Одоевский очень серьезно занят был этим несколько дней и все учился пятиться.

Попав в чиновническую и придворную колею, Одоевский незаметно всасывал в себя честолюбие и чиновничество и начал гоняться за различными знаками отличия; но он говорит искренно и чуть не со слезами на глазах, что, имея много недостатков, он только совершенно чужд одного – мелкого честолюбия – и благодарит за это бога!

Он утешает себя надеждою, что еще не совсем бросил литературу, что он напишет еще что-нибудь, что у него много разных планов и что для осуществления их ему надо только на время удалиться от своих служебных занятий.

Он потерял всякое сознание о самом себе и потому ставил себя беспрестанно в комические положения.

В последнее время он уверил себя, что он обладает удивительным даром изобретения.

Года три тому назад я встретился с ним в Гостином дворе и пошел вместе с ним.

– Ах, я совсем забыл... – вдруг начал он, – вам ничего не стоит вернуться несколько шагов назад. Я вам покажу мое новое изобретение.

Мы вернулись.

Он привел меня в лавочку, где продают фуражки и разные дорожные вещи. У входа ее висел клеенчатый лакейский плащ.

– Вот – смотрите! Не правда ли, это превосходная вещь!..

– Что такое?

– Клеенчатый плащ... ведь это мое изобретение. Я первый выдумал это...

Эти плащи в употреблении давным давно, но у меня не достало духу оспаривать Одоевского и разочаровывать его.

С год назад тому он очень серьезно и таинственно отвел меня в сторону.

– В настоящее время возник у нас в литературе очень серьезный вопрос, – сказал он мне... – о кухарках. Я по этому случаю написал статейку и пришлю ее вам. Это очень серьезная вещь, очень! Я развиваю этот вопрос и говорю о кухарках в Сардинии. Я на месте убедился, как эта часть там превосходно устроена...

Да! я теперь уже не боюсь учености и глубины князя Одоевского; вероятно, и Дирин перестал бы бояться его, если бы был жив; но до сих пор я питаю самое симпатическое чувство к этому человеку, который из всех литераторов-аристократов принимал действительное и искреннее участие во всех своих бедных собратах по литературе и обращался с ними истинно по-человечески я без всяких задних мыслей. В нашем обществе это большая заслуга!

В конце тридцатых годов Одоевский чуть было еще раз не сделался журналистом. Его настроивал на это г. Краевский, хотевший издавать журнал вместе с ним. Программа этого журнала, вместе с ручательством за благонамеренность редакторов, представлены были на высочайшее воззрение графом Уваровым. В это время государь, сломивший себе ключицу, находился в Чембарах в весьма дурном расположении духа. Он написал на представлении Уварова о новом журнале: «И без того много».

С этой минуты уже никакие просьбы о новых журналах не принимались, и существовавшие журналы стали перепродаваться за значительные суммы. Некоторые из немногих имевших привилегии на издание журналов и кое-как издававшие их ловко воспользовались этим и перепродавали их, делая таким образом очень хорошие спекуляции.

Краевский в это время еще крепко держался за Одоевского. Он вообще так и льнул к пушкинской партии и хотел втереться к самому Пушкину. Не знаю, удалось ли бы ему это: внезапная смерть Пушкина расстроила его планы, но он по крайней мере был утешен тем, что протерся-таки хоть к гробу Пушкина и вместе с друзьями поэта и жандармами тайком, ночью, выносил этот гроб из квартиры.

Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии. Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение. На Мойке у Певческого моста (Пушкин жил тогда в первом этаже старинного дома княгини Волконской) не было ни прохода, ни проезда. Толпы народа и экипажи с утра до ночи осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря: «к Пушкину», и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта, ото было уже похоже на народную манифестацию, на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести гроб на руках до церкви;

стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми.

Дирин был страшно поражен смертью Пушкина. Он первый уведомил меня о ней, потому что во все время страданий Пушкина забегал справляться об его состоянии раз десять в день. Мы решили рано утром в день выноса тела явиться на квартиру поэта и присоединиться к тем, которые будут нести гроб.

Накануне вечером я сообщил об этом г. Краевскому.

– Ну что ж? доброе дело, – отвечал он отрывисто и сухо по своему обыкновению.

Знал ли он о том, что нашим желаниям не придется осуществиться, или распоряжение о выносе сделано было еще позже?

В 8 часов утра мы подъезжали к дому, где жил Пушкин. К удивлению нашему, около дома не было ни одного человека. Мы сошли с дрожек и вошли на двор. Подъезд был заперт. Дворник объявил нам, что уж тело в церкви. Мы отправились к церкви.

Вся Конюшенная площадь была усыпана народом. В церковь пускали только по билетам, а у нас билетов не было... Квартальные так и сновали в толпе. Жандармы верхом окружали площадь... Мы с Дириным потолкались в толпе и печально отправились домой.

Недели через две после того, как тело по высочайшему повелению отвезено было А. И. Тургеневым в Святогорский Успенский монастырь (в 4 верстах от с. Михайловского), – г. Краевский объявил, что ему поручено разобрать книги и бумаги в кабинете Пушкина, что он пригласил к себе в помощники Сахарова и еще кого-то, не помню.

– Не хотите ли вы помочь нам? – прибавил он.

Я, конечно, не отказался от такого предложения.

Нечего рассказывать, с каким ощущением я входил в кабинет Пушкина...

Мы провозились целый вечер. Я, между прочим, нашел под столом на полу записку Мегниса, бывшего в то время секретарем английского посольства в Петербурге. Пушкин просил его быть своим секундантом, и Мегнис в своей записке отказывал Пушкину в этой просьбе, замечая, что, по его положению, он не может вмешиваться в такого рода дела. Записку эту я передал г. Краевскому, который хотел отдать ее Жуковскому. Мегнис был прав. Но с какой точки зрения Пушкин адресовался к нему? С такого рода просьбами относятся, кажется, обыкновенно только к самым близким людям.

Во время наших занятий на пороге дверей кабинета появился высокий седой лакей.

Он, вздыхая и покачивая головой, завел с нами речь:

– Не думал я, чтобы мне, старику, пришлось отвозить тело Александра Сергеича! (Он сопровождал А. И. Тургенева.) – Я помню, как он родился, я на руках его нашивал...

И потом старик рассказал нам некоторые подробности о том, как они везли тело, в каком месте Святогорского кладбища погребено оно, и прочее.

Г. Краевский, кажется, посвятил разбору библиотеки Пушкина несколько вечеров, но я помогал ему только один вечер...

Когда испрошено было высочайшее разрешение на продолжение издания «Современника» в пользу детей Пушкина, к удивлению многих, на обертке, между именами

издателей, друзей Пушкина: Жуковского, князя Вяземского, Плетнева, появилось имя А. А. Краевского. Положим, что Жуковский и Вяземский или по недосугу, или по лени и непривычке к делу не стали бы заниматься изданием, что они давали только свои имена для блеска; но разве Плетнев не мог сладить один с этим изданием?

Но г. Краевский в это время так расстилался перед Плетневым и ухаживал за ним, обнаруживал такое усердие и преданность перед друзьями покойного поэта, так совался им на глаза со своими услугами, что они наконец из благодарности удостоили его чести принять в соиздатели.

Г. Краевский сиял в это время.

Он, казалось, даже вырос... по крайней мере на вершок. И немудрено. Напечатать свое темное имя рядом с именами Жуковского и Вяземского почти все равно, что попасть из капралов прямо в генералы.

Андрей Александрович действительно с этих пор начал походить на литературного генерала.

Примечания

2. Повесть эта была напечатана в «Телескопе», как я упомянул выше.